

«Московский дневник»: о методе рассуждения, любви, безумии, революции

СЕРГЕЙ ФОКИН

Заведующий кафедрой немецкого, романских и скандинавских языков и перевода, гуманитарный факультет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ); профессор кафедры междисциплинарных исследований в области языков и литературы, факультет свободных искусств и наук, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Москательный пер., 4. E-mail: serge.fokine@yandex.ru.

Ключевые слова: русская революция; Вальтер Беньямин; «Московский дневник»; русское искусство; Всеволод Мейерхольд.

В статье рассматривается «Московский дневник» Вальтера Беньямина в свете понятия «метод рассуждения» и тех мотивов, которыми отмечено путешествие философа в Москву: любовь и революция, безумие и познание чужого, невозможность фланировать по советской столице и невосприимчивость к революционности русского авангарда 1920-х годов. Автор обращает внимание на один из главных компонентов московского опыта Беньямина: в отличие от Берлина или Парижа, располагающих к бесцельной прогулке и открытых широкому взгляду, заледеневшие улицы Москвы требовали сверхъестественного или даже сюрреалистического усилия. Иными словами, отнюдь не европейским фланером чувствовал себя Беньямин в России 1926–1927 годов, мысленно и зрительно наблюдая за близкими или случайными знакомыми, торговцами, горожанами, церквями, рынками, пивными. Чтобы не поскользнуться, он ступал осто-

рожно, утрачивая сущностную для фланера связь между хождением и зрением.

Автор подчеркивает, что основанием приобретенного Беньямином в Москве опыта служила не оптимистически-утопическая идея революции, приведшая путешественника в столицу Страны Советов, а своеобразная революционная меланхолия, подрывавшая последующие творческие начинания философа изнутри. Ее элементы — травма угасания революционного порыва, обманутые чувственные ожидания — вынуждали мыслителя сообразовать опыт перелома и открытости сознания с соответствующими формами письма — отрывочного, раздробленного, фрагментарного. «Московский дневник» — последнее завершённое произведение Беньямина, а все последующие тексты могут рассматриваться лишь как наброски, пассажи, переходы к грядущей книге, которая никогда не будет завершена, — *Passagen-Werk*.

Пролегомены к методу рассуждения и сценографии в «Московском дневнике»

В СВОЕМ московском путешествии Беньямин преследовал несколько целей, и почти все они сходились под знаком завоевания. В чувственном плане, движимый любовной страстью, он стремился в Москву, чтобы завоевать латышскую «большевичку» Асю Лацис, которая была любовницей его товарища Бернхардта Райха, то есть принадлежала другому и, можно сказать, не вполне принадлежала себе (если принять во внимание характер ее заболевания). В геопоэтическом плане ему предстояло покорить столицу Советской России, которая из берлинского далека виделась градом грядущего мира и уже с 20 декабря воспринималась немецким путешественником не иначе, как через аллегорию «почти неприступной крепости»¹, — впрочем, как и сама Ася. В политическом плане колеблющемуся интеллектуалу левого толка важно было занять более определенное место в революционном движении, которое как раз в этот исторический момент стало поворачивать вспять вследствие усиления консервативного курса Сталина в ущерб идее перманентной революции Троцкого. В интеллектуально-эстетическом плане критику и философу необходимо было сформировать новые представления о пролетарском искусстве, которое в муках и скандалах рождалось и умирало в условиях грандиозного социального эксперимента, предпринятого большевистской партией в России. Наконец, в экзистенциальном плане Беньямину надлежало отвоевать себе хотя бы толику

Эта и дальнейшие статьи номера (исключая раздел «Пассажи и аркады») представляют собой доработанные тексты докладов V Международной конференции по компаративным исследованиям национальных языков и культур «„Московский дневник“ Вальтера Беньямина и хождения западных интеллектуалов по мукам России (XX век)», прошедшей на факультете свободных искусств и наук СПбГУ 24–26 мая 2016 года при содействии Фонда поддержки либерального образования.

1. *Беньямин В.* Московский дневник / Пер. с нем. и прим. С. Ромашко; предисл. Г. Шолема; общ. ред. и послесл. М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 1997. С. 51.

нового типа существования, поскольку, отправляясь в Москву, он намеревался среди прочего «избежать смертельной меланхолии рождественских дней»² Европы. Под конец тех хождений по мукам, которыми обернулось пребывание Беньямина в Москве, стало очевидно, что почти ни одной из своих целей берлинский гость не достиг; в последней фразе дневника с кинематографической выразительностью зафиксировано окончательное поражение по всем фронтам московской кампании: «С большим чемоданом на колесах я плача ехал по сумеречным улицам к вокзалу»³.

Тем не менее двух несомненных результатов, о которых мыслитель не особенно задумывался, отправляясь в коммунистическую столицу, он добился. Во-первых, «новый взгляд на город», «новый взгляд на людей», «обретение нового духовного состояния»⁴: этот результат в общем и целом соответствовал последней цели — «побочной задаче» — путешественника и был осознан только по возвращении в Берлин. Во-вторых, сам «Московский дневник», представляющий собой, с одной стороны, по выражению Гершмома Шолема, «наиболее личный, полностью и безжалостно откровенный документ»⁵, с другой же — поразительный литературный текст, повествующий среди прочего о том странном политическо-эротическом превращении, которое пережил в Москве левый немецкий интеллигент, поддавшись чарам латышской революционерки и самой русской революции.

Действительно, одна из красных нитей, проходящих сквозь повествование «Московского дневника», образована переплетением мотивов политического радикализма, к которому стал тяготеть немецкий мыслитель под влиянием встречи с Асей на Капри в июне 1924 года, и импульсов своеобразного эротического эксперимента, которым с момента появления Беньямина в Москве обернулись его отношения с Лацис и Райхом: в них, помимо чувственных порывов и надрывов классического любовного треугольника, немало важную роль играли позиции и позы интеллектуального соперничества, борьбы за признание, состязание авторских самолюбий, стремлений каждого обрести власть над двумя другими. Таким образом, «Московский дневник» ценен не только запечатленными в нем началами разработки материалистического понимания истории, сущности современных диктаторских режимов, различий

2. Там же. С. 50.

3. Там же. С. 172.

4. Там же. С. 160.

5. Шолем Г. Предисловие // Беньямин В. Указ соч. С. 7.

между буржуазным и пролетарским искусством, новых условий существования интеллектуалов, изменений положения женщины и ребенка. Не менее интересен этот текст в качестве свидетельства своеобразного политическо-эротического экспериментирования, поскольку осмысление источников и движущих сил революционных процессов сопровождается в нем напряженным вниманием к «сексуальной энергии» революции, к материальности, физиологичности нового положения человека в истории.

Не будет большой натяжки, если сказать, что главным элементом этого эксперимента была стихия игры: все главные персонажи «Московского дневника» в основном заняты тем, что играют — в шахматы, домино; исполняют какие-то социально-психологические роли — безнадежно влюбленного, мнимого больного, великодушного рога носца, старшего товарища, оппонента, ученой жены, заботливой матери, роковой женщины; устраивают друг другу сцены, посвященные главным образом воспитанию чувств или новых навыков социального поведения, разъяснению особенностей текущего политического момента. Они играют друг другом: женщина двумя мужчинами, последние друг другом и друг перед другом; наконец, все трое беспрестанно спорят и рассуждают об игре, о новых и старых постановках в московских театрах, пишут рецензии на премьеры и диспуты. В сущности, знаменитая статья «Русские игрушки», ставшая одним из самых заметных результатов московских изысканий Беньямина, может рассматриваться не только в плане действительного содержания, но и как форма выражения самой игровой стихии, в которой разворачивалась жизнь немецкого гостя в коммунистической Москве: само неодолимое желание покупать игрушки, неоднократно зафиксированное на страницах «Московского дневника», а также детальные описания акта покупки-продажи можно было бы расценить как своего рода языковую материализацию тех людически-театральных импульсов, что пронизывали бытие и мышление Беньямина в советской столице.

Вместе с тем не приходится сомневаться, что троим главным героям случалось время от времени заигрывать, точнее, «переигрывать», впадать в чрезмерный пафос или вообще терять чувство меры, действительности, истины. Таков Райх, отчитывающий Беньямина за несогласованную с ним статью о Мейерхольде или за слишком свободное интервью «Вечерней Москве»⁶; таков сам Беньямин, которому доводилось ощущать себя «персонажем из ро-

6. Беньямин В. Указ. соч. С. 110, 128.

мана Якобсена»⁷ или просто присочинить в упомянутом интервью, будто он собирается написать «книгу об искусстве в условиях диктатуры: итальянском при фашизме и русском при пролетарской диктатуре»⁸; такова, разумеется, Ася, которая с бесподобным «эротическим цинизмом»⁹ буквально вертит двумя незадачливыми соперниками, добиваясь от одного дорогих подарков и денег, от другого — помощи в быту и интеллектуальной поддержки, не упуская возможности при случае еще и пофлиртовать с неким «красным генералом»¹⁰. Едва намеченные отношения с любвеобильным генералом словно бы утраивают любовный треугольник «Московского дневника», преобразуя эротическую линию повествования в советский вариант «Опасных связей», а саму Асю — в бессердечную интриганку-обольстительницу в духе маркизы де Мертей.

Разумеется, не следует преувеличивать значимость эротического элемента в общей сценографии «Московского дневника»: в нем с равным мастерством прописаны сцены унылого гостиничного быта, блужданий по чужому холодному городу, встречи со знакомыми, малознакомыми и незнакомыми деятелями западной и русской культуры, визиты в музеи, магазины, рестораны, столовые, пивные, московские квартиры, посещения официальных советских учреждений, театров, соборов, рынков. Тем не менее именно живая, упругая связка политического и эротического, публичного и интимного придает всему повествованию необычайную жизненную силу. Как заметил Жак Деррида, «„Московский дневник“ целиком писался и, так сказать, бился об острые углы этого адского треугольника»¹¹, образованного «опасными связями» между Беньямином, Райхом и Асей. В подтверждение этому достаточно вспомнить сцену одного из последних любовных признаний, которую разыгрывал берлинский гость перед своей возлюбленной, смутно сознавая, что вновь ломает комедию, разрываясь между неодолимым влечением к любимой женщине и непобедимой потребностью сохранить индивидуальную свободу:

Так мы говорили о многом. [Она] Собираюсь ли я и дальше смотреть на луну и думать об Асе. [Он] Надеюсь, что в следующий раз будет лучше. [Она] Что ты тогда снова целыми сутками смо-

7. Там же. С. 20.

8. Там же. С. 45.

9. *Шодем Г.* Указ. соч. С. 12.

10. *Беньямин В.* Указ. соч. С. 145, 147, 154.

11. *Деррида Ж.* Back from Moscow, in the USSR // Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия. М.: РИК «Культура», 1993. С. 63.

жешь лежать на мне? <...> Этот разговор очень волновал меня весь день, да и всю ночь. Но мое стремление уехать было все же сильнее влечения к ней... Жизнь в России для меня слишком тяжела, если я буду в партии, а если нет, то почти бесперспективна, но вряд ли легче¹².

Очевидно, что в сознании автора «Московского дневника» эротическое неразрывно сплетается с политическим, и сексуальный цинизм Аси выступает своего рода пробным камнем готовности немецкого мыслителя вступить в компартию и остаться в Стране Советов. Строго говоря, именно на фоне вереницы душераздирающих сцен, маленьких трагедий и парадоксальных интермедий, беспрестанно разыгрывавшихся тремя главными персонажами своеобразного «театра жестокости», к которому порой сводились отношения Беньямина, Аси и Райха, а также, разумеется, под шоковым воздействием самой московской жизни, лишившей берлинского путешественника привычных узусов буржуазного быта, автор приобрел опыт тех состояний психовитальной пустоты, теории которых он умозрительно разрабатывал еще с ранних статей.

Действительно, эта внутренняя пустота, в философском плане подразумевающая нечто аналогичное «феноменологической редукции»¹³, соответствует также понятию нулевой степени опыта, к разработке которого Беньямин подошел в одном юношеском наброске: в нем он подвергает критике основанное на предании и традиции классическое понятие опыта, усматривая в последнем прибежище буржуазного филистерства¹⁴. Начинающий мыслитель противопоставляет ему такой опыт, движущая сила которого — не потребность накапливать (опыт), а стремление находить новые жизненные ценности. Главное в новой концепции опыта, которая, разумеется, будет существенно усложняться в связи с осмыслением социальных, психических и экономических итогов великой войны, заключается в экзистенциальной готовности человека пойти на что-то радикально новое: речь идет о своеобразной витальной открытости субъекта, его эпистемологической расположенности к восприятию самой материальной реальности, а не «рассказов» и «теорий» о ней. Действительно, французский

12. Беньямин В. Указ. соч. С. 154–155.

13. Деррида пишет о «феноменологическо-марксистском мотиве», который сплачивает разнородные нарративные страты «Московского дневника» (Деррида Ж. Указ. соч. С. 57).

14. Benjamin W. Erfahrung // Gesammelte Schriften. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1980. Bd. II-1. S. 54–56.

переводчик и исследователь творчества Бенямина Марк де Лоне полагает, что в этой ранней работе мыслитель наметил очертания совершенно новой концепции опыта, в которой понятие «переживания» конкурирует с «изживанием», «приобретение» — с «трагедией», «производство» — с «бездельем» и «безработицей», а главное — со временем открывается пространство экзистенциального и эпистемологического экспериментирования. Это пространство связано с явлением, которое сам Бенямин называет разломом или переломом сознания, что отличает последнее от любой формы знания, построенного «по модели»¹⁵. В сущности, пространство такого опыта, отрицая ценность традиционной дискурсивной рефлексии, предоставляет субъекту возможность рассуждать «мыслительными образами», «озарениями», «прозрениями». В эпистемологическом плане это отключение или перерыв в деятельности сознания означает его выброшенность в мир абсолютной имманентности, лишенной даже тени трансцендентности: сознание обращается чистым феноменологическим видением. В поэтическом плане удержание этого видения связано с поиском такой манеры письма, чтобы говорил не критик, не рассказчик, не теоретик, а сами «вещи», «другие люди», «другой я»: речь идет о том, что Деррида именует притязательным проектом «нейтрализации любой интерпретации, любого дистанцирования, любой теоретической конструкции»¹⁶, уточняя, что такой проект был реализован Бенямином лишь отчасти, в большей мере в «Московском дневнике», нежели в статьях на «московские темы».

Здесь нам важно проследить, как мотив разрыва сознания мог быть связан с *почти* полным жизненным провалом, которым оказалось для Бенямина путешествие в Москву; при этом необходимо также наметить очертания того абсолютно нового опыта творческого существования, который был обусловлен критическим осознанием абсурдности московских злоключений, своеобразно отразившимся в известном жесте перечеркивания названия рукописи «Московский дневник» и заменой его на многозначительное выражение «Испанское путешествие» (*die Spanische Reise*): как известно, один из возможных смыслов нового заголовка — «абсурдное, нелепое путешествие»¹⁷. Можно сразу подчеркнуть, что

15. *De Launay M.* Expérimentation, expérience et expérience vécue // Walter Benjamin. Cahier de l'Herne. № 104. P.: Éditions de l'Herne, 2013. P. 143.

16. *Деррида Ж.* Указ. соч. С. 58.

17. Подмечено Валерием Зусманом в ходе обсуждения доклада Наталии Азаровой на конференции «„Московский дневник“ Вальтера Бенямина и хождения западных интеллектуалов по мукам России (XX век)».

в шаткие основания нового опыта была положена не оптимистически-утопическая идея революции, которая вела путешественника в столицу Страны Советов, а своеобразная революционная меланхолия, подрывавшая последующие творческие начинания философа изнутри: глубокая внутренняя травма, нанесенная переживанием угасания революционного порыва, вынуждала его сообразовать опыт перелома и открытости сознания с формами письма, отличительной характеристикой которого стала отныне отрывочность, раздробленность, фрагментарность. Строго говоря, «Московский дневник» — последнее *завершенное произведение* Беньямина, поскольку все последующие тексты могут рассматриваться как наброски, переходы, пассажи, ведущие к грядущей книге, которая никогда не будет завершена, — *Passagen-Werk*. С течением времени приступы революционной меланхолии, мотивированной неприятием принципов капиталистического производства, разбивают фигуру «автора как производителя», инкорпорируя фрагменты авторской субъективности в более сложную конфигурацию, в которой так или иначе задействована идея деструкции произведения.

При этом в витально-экзистенциальном плане ощущение перманентного краха как знака собственной судьбы стало своеобразным негативным двигателем всего творческого становления мыслителя: впервые оно было испытано при крушении надежд на университетскую карьеру; по завершении московских злосчастий вошло в его сознание в виде своего рода больного места; впоследствии ярко отразилось в формуле «деструктивный характер». В ней Беньямин представил своеобразный ключ к новому типу существования человека в истории, которому сам отныне стремился соответствовать:

Деструктивный характер обладает сознанием исторического человека, его главный импульс складывается из непреодолимого недоверия по отношению к ходу вещей и поспешности констатировать всякий раз, что все может принять дурной оборот. Вот почему деструктивный характер — это сама живучесть.

В глазах деструктивного характера ничто не длится. Вот почему он повсюду видит дороги. Там, где другие натываются на стены или на горы, он все равно видит дорогу. Но поскольку он их видит повсюду, ему нужно их прокладывать. Не всегда грубой силой, иногда — силой скорее благородной. Видя повсюду

Более глубокие слои «испанского подтекста» «Московского дневника» см. в статье Наталии Азаровой «Испанский формат „Московского дневника“» в настоящем номере «Логоса».

дороги, он сам все время на перепутье. Ни одному мгновению не ведомо мгновение следующее. Он рушит все, что существует, но не из-за любви к руинам, а из-за любви к дорогам, которые по ним проходят¹⁸.

Нам уже приходилось более подробно рассматривать понятие «деструктивный характер»¹⁹, сейчас же подчеркнем, насколько тесно связан данный фрагмент с тем знаменитым посвящением к «Улице с односторонним движением» (1928), одной из главных книг Бенямина, использованной им в Москве как орудие интеллектуального обольщения своенравной революционной нимфы: «Эта улица зовется Улицей Аси Лацис в честь той, кто, как инженер, прорубил ее в авторе». Вряд ли это текстуальное совпадение было случайным: новый тип существования человека в истории, принципы которого Бенямин представил в программной статье 1931 года, явно восходил к образу Аси, проложившей для него дорогу к радикальному марксизму, или, точнее, к воинственному историческому материализму, начавшему после московских дискуссий и открытий приобретать в работах мыслителя очертания метода постижения истории в измерениях прошлого, настоящего и будущего. Действительно, Шолем, приложивший немало усилий, чтобы перетянуть своего друга на сторону метафизики и каббалистической теологии, был буквально обескуражен, осознав всю глубину обращения или даже *падения* Бенямина, принявшего марксизм словно бы в противовес иудаизму:

Действительно, именно с 1929 года конфликт между этими двумя способами мышления, метафизическим и марксистским, в тот момент, когда он пытался перейти — через трансформацию себя — от первого ко второму, стал определять его духовную жизнь и характеризовать его самого: это было очевидно²⁰.

Не вдаваясь здесь в детальное рассмотрение реальных противоречий и разногласий, омрачивших после встречи с Асей идиллию

18. *Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. IV-1. S. 398.*

19. *Фокин С. Л. Капитализм как религия, или Вальтер Бенямин как переводчик Макса Вебера (к характеристике метода критического рассуждения) // Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Специальный выпуск: Экономика и религия. М.: Издательство Института Гайдара; СПб.: СПбГУ, факультет свободных искусств и наук, 2015. С. 167–179.*

20. *Scholem G. Walter Benjamin. Histoire d'une amitié. P.: Calmann Lévy, 1981. P. 185.*

духовной близости и умственного согласия, которая после отъезда Шолема в Палестину поддерживалась почти исключительно через переписку²¹, заметим: пытаюсь разобраться в причинах настоящей духовной революции, которую Бенъямин пережил в 1924–1929 годах, еврейский философ почти не принимал во внимание эротического фактора, сыгравшего решающую роль в пробуждении исторического сознания у немецкого мыслителя²². Политический *praxis* коммунизма означал для него не только реальную революционную деятельность, не только интеллектуальную работу, поставленную на службу революции, но и тотальную мобилизацию всего аффективно-психического потенциала человека, рассогласование и преобразование всех чувств. Любопытно будет отметить, что в этом пункте Бенъямин несколько расходился с «идеальным» коммунизмом, для которого, как он полагал, характерно «пренебрежение любовью и сексуальной жизнью»²³. Для немецкого мыслителя реальная политическая практика подразумевала скорее не сублимацию, а революционизирование сексуальности, поиск новых форм женского и мужского, воспитание новой социалистической чувственности, мотивированной ощущением деструкции традиционных форм буржуазной семьи: собственно, Ася представляла собой один из характерных образов этих революционных валькирий, которые, подобно легендарной Ларисе Рейснер или не менее эффектной Александре Коллонтай, видели в революции не только захват и удержание политической власти, но и опыт женского отмщения сильным мира сего, возможность революционного становления другой и в конечном счете — обретение вождя над мужчиной. Характерно, что одним из симптомов упадка революционной энергии в России Бенъямин счел дезэротизацию советского кино: «Русско-му кино совершенно ничего не известно об эротике»²⁴.

Вместе с тем, рассматривая причины неудач немецкого мыслителя в советской столице, следует заметить, что, воспринимая

21. Подробнее об отношениях двух мыслителей см. обстоятельную работу Дмитрия Смирнова: Смирнов Д. А. Гершом Шодем и Вальтер Бенъямин: частная жизнь и дружба двух интеллектуалов в контексте идеологической борьбы межвоенного времени // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. Т. 2. № 3. С. 43–48.

22. Как уже упоминалось, в предисловии к «Московскому дневнику» Шодем мимоходом говорит об «эротическом цинизме» Лацис, не утруждая себя разъяснениями по явно скользкому вопросу: Шодем Г. Указ. соч. С. 12.

23. Бенъямин В. Указ. соч. С. 80.

24. Там же.

Асю, Москву, революцию, новую русскую литературу, саму Россию через аллегорию «почти неприступной крепости», Беньямин в ходе пребывания в русской столице постоянно подыскивал различные ходы и подходы, уловки и ухищрения, которые помогли бы ему покорить чужестранные твердыни, прибегая при этом к своеобразному искусству перевоплощения, превращения, точнее, умаления собственной самости вплоть до чистого листа, чистого ничто самости, которое он отважно выставлял или даже бросал навстречу неизвестности. В сущности, то, что Беньямин писал позднее о своем способе любить, может быть отнесено к его способу познания другого и манере письма в «Московском дневнике»: речь снова идет о своеобразной феноменологической редукции, когда в скобки заключается весь предыдущий опыт — интеллектуальный, психологический, политический, чувственный, эстетический, — а сознание предстает в наготе, предельно восприимчивой к вещам, людям, материи, к плоти видимого, а также к следам невидимого, вследствие чего с каждым опытом такого рода субъект мысли и письма не просто изменяется или преображается, а буквально становится другим. Действительно, в одном из автобиографических фрагментов 1931 года, ретроспективно характеризуюя свой способ любить, Беньямин признавался:

Всякий раз, когда большая любовь завладевала мной, я испытывал столь глубокую трансформацию, что вынужден был говорить себе с превеликим удивлением: да, этот человек, который высказывал столь невероятные вещи и вел себя столь непредсказуемым образом, это был я. Причина в том, что реальная любовь делает меня идентичным любимой женщине, и я был рад, когда Грета подтвердила мне существование такого феномена, правда представив его характерным для женской любви. <...> Именно в отношениях с Асей такого рода трансформация в подобного была как нельзя более интенсивной, в результате чего я впервые открыл в себе множество нового. <...> В течение своей жизни я знал трех различных женщин, а в себе самом — трех различных мужчин. В моей биографии следовало бы описать конструирование и распад этих трех мужчин, равно как компромисс между ними, или, можно было бы добавить, этот триумvirат, который представляет собой мою жизнь²⁵.

В этом фрагменте ключевым является выражение «трансформация в подобного», которое явственно перекликается с одним из самых

25. Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. VI-2. S. 427.

загадочных концептов Бенямина — нечувственного подобия, или уподобления²⁶. В данном случае речь идет о таком витально-психическом миметизме, в котором сознание парадоксальным образом вызывает к внешнему миру, используя шок от столкновения с другим не только для извлечения затерянных в глубинах мыслимого обрывков изведенного некогда опыта, но и для миметического приспособления к новым реалиям, в результате чего субъект становится способным открыть что-то новое как вовне, так и внутри себя. В одном пассаже «Московского дневника» Беньямин дает превосходную формулировку этой направленности сознания вовне себя:

Перед необычайно красивой картиной Сезанна я подумал, насколько неуместны разговоры о «вчувствовании» уже с языковой точки зрения. Мне показалось, что, созерцая картину, во все не погружаешься в ее пространство, скорее, напротив, это пространство атакует тебя в определенных различных местах. Оно открывается нам в уголках, где, как нам кажется, находятся очень важные воспоминания, в этих местах появляется нечто необъяснимо знакомое²⁷.

Заметим, что, хотя речь идет о созерцании картины в одном из московских музеев («Дорога в Понтуазе» Поля Сезанна), формула, предложенная мыслителем, соответствует как методу рассуждения в «Московском дневнике», так и общей эпистемологической установке образа мысли Бенямина: ему важно подставить себя под шоковое воздействие новых реальностей, важно быть атакованным, чтобы, испытав на себе удары нового, сделать мысль и письмо своего рода контратакой сущего.

Итак, подводя предварительный итог, необходимо подчеркнуть, что в московском путешествии маршрут писателя должен был пролегать от одной стихии к другой — от меланхолии к революции. И если первая была порождена в основном крушением надежд на научную карьеру в немецком университете, то последняя вбирала в себя любовь, безумие, чужестранный город, коммунистическую партию, пролетарское искусство, новую жизнь. Нельзя сказать, что возвращение к меланхолии Европы подразумевается

26. См. об этом: *Чубаров И.* Перевод как опыт нечувственных уподоблений. Причины неудач переводов «Задачи переводчика» Вальтера Бенямина на русский язык // *Логос*. 2011. № 5–6 (84). С. 237–252. См. также: *Lavelle P.* La ressemblance non sensible et le travail de la ressemblance // *Europe*. 2013. № 1008. P. 212–228.

27. *Беньямин В.* Указ. соч. С. 60–61.

ло забвение всех революционных стихий, однако не приходится отрицать, что все они приобрели некую траурную ауру — любовь, безумие, чужестранный город, компартия, пролетарское искусство, новая жизнь; все эти мотивы — то попеременно, то одновременно, то переплетаясь, то сливаясь, — составили опыт своего рода перманентной творческой деструкции, которую Беньямин сумел превратить в одну из главных движущих сил своего существования и письма.

Как уже было отмечено, начала этого опыта находятся именно в Москве и зафиксированы в «Московском дневнике». Вот почему имеет смысл проследовать непосредственно по вехам московских блужданий, которые расставил для себя сам мыслитель, обозначив при этом определенную иерархию своих задач и целей: во-первых, важнее всего для него была страсть к Асе, которая, помимо всего прочего, представлялась ему воплощенной аллегорией революции; во-вторых, ему хотелось открыть для себя Москву, которая виделась из немецкого далека столицей нового, неведомого мира; в-третьих, гонимый в московскую даль *Angelus Novus*, Беньямин надеялся сообразовать благоприобретенную марксистскую установку мышления со вступлением в компартию как передовой отряд революционного движения; в-четвертых, сознавая, что подлинная революция немыслима без истинно революционного искусства, критик искал в Москве того переворота в сфере эстетического, который захватил бы все политическое; в-пятых, наконец, остро ощущая разрыв со статусом буржуазного университета, Беньямин надеялся отыскать в большевистской России возможности такого экзистенциального удела, который лучше соответствовал бы его реальному положению люмпен-интеллектуала²⁸. Оставляя анализ других направлений московских блужданий Беньямина для будущих работ, в следующем разделе нам бы хотелось сосредоточиться именно на связке идеи революции и идеи любви, средним членом в которой предстает идея безумия.

Любовь — безумие — революция

Начиная с Шолема, многие биографы Беньямина тщетно ломали голову над загадкой странных чувственных отношений, которые с июня 1924 по начало 1930 года связывали немецкого мыслителя с радикальной латышской революционеркой. Действительно, ха-

28. О понятии люмпен-интеллектуала см.: Фокин С. Л. Пассажи. Этюды о Бодлере. СПб.: Machina, 2011. С. 64–75.

рактер этих «опасных связей» оказался настолько непредвиденным, настолько непонятым и неприемлемым для ближайшего окружения философа, что не приходится удивляться тому, что Теодор Адорно, издавая в 1955 году «Улицу с односторонним движением», ничтоже сумняшеся решил избавить книгу от велеречивого авторского посвящения. Шолем также сомневался в действительно решающем интеллектуальном значении, которое могло иметь знакомство Беньямина с Асей, утверждая под конец предисловия к «Московскому дневнику», что «по поводу интеллектуальной стороны любимой им женщины дневник оставляет нас в полном неведении», добавив в последней фразе текста более чем мистическое суждение: «Здесь остается какая-то загадка, которая в жизни такого человека, как Вальтер Беньямин, вполне уместна»²⁹. В более раннем тексте, затрагивая вопрос отношений Аси и Беньямина, Шолем не останавливается перед тем, чтобы поставить под сомнение достоверность воспоминаний о Беньямине, представленных в ее мемуарной книге «Революционер в профессии»:

В той мере, в какой я мог это проверить, они не представляют точными ни с точки зрения содержания, ни в плане хронологии событий. Очевидно, что эта женщина, которая провела несколько лет в сталинских лагерях и которая по этой причине лишилась всех документальных источников, могла сохранить лишь самые смутные воспоминания о той далекой эпохе³⁰.

Не вдаваясь здесь в обсуждение этической проблематичности критики исторических свидетельств, принадлежавших перу или устному слову тех, кто прошел через лагерь, и не касаясь также мотивов своеобразной интеллектуальной ревности, которая могла двигать еврейским мыслителем, открыто противопоставлявшим свою «историю дружбы» с Беньямином истории его любви к латышской большевичке, заметим: ставя под вопрос достоверность воспоминаний Аси, Шолем явно кривил душой — кому-кому, а ему было прекрасно известно, какое интеллектуальное и эмоциональное потрясение испытал Беньямин, познакомившись с этой женщиной на Капри в июне 1924 года. Не что иное, как любовная страсть подтолкнула мыслителя к историческому материализму и марксизму.

29. Шолем Г. Указ. соч. С. 12.

30. Scholem G. Op. cit. P. 7.

Действительно, если в письме к Шолему от 13 июня 1924 года Беньямин признавался, что не встретил пока на Капри сколько-нибудь интересных людей, за исключением «одной латышки, большевички из Риги, которая занимается театром и режиссурой» и представляется ему «самой замечательной личностью»³¹, то меньше чем через месяц он писал, что эта встреча стала настоящим событием его жизни, круто изменившим как ход его интеллектуальных занятий, включая работу над диссертацией, так и ритмы его буржуазного существования. В сущности, Беньямин уже тогда осознал, что эта встреча оказалась чем-то сразу отделившим его от Шолема и иудаистского проекта, в чем он и признавался другу в письме от 7 июля 1924 года:

Здесь произошло множество такого, что можно было бы доверить друг другу только в том случае, если бы я совершил путешествие в Палестину или, что было бы, возможно, более легитимно, если бы ты приехал на Капри. Речь, стало быть, о событиях, которые не полезны ни моим опасно прервавшимся занятиям, ни, вероятно, ритмике буржуазной жизни, столь необходимой для всяких занятий, но зато они бесспорно полезны для витального освобождения и напряженного внимания к актуальности радикального коммунизма. Я познакомился с русской революционеркой из Риги, являющейся одной из самых исключительных женщин, которых я когда-либо встречал³².

Очевидно, Шолему было отчего беспокоиться: в этом письме зафиксирована трещина в духовном сообществе друзей, во всяком случае Беньямин прямо говорит о том, что в их отношениях появилось нечто несообщаемое (*inkommunizierbar*), по крайней мере в письмах, и, следовательно, требующее более деятельного, экзистенциального участия, присутствия друг перед другом. Иными словами, добиваясь витального освобождения, Беньямин под влиянием встречи с Асей противопоставляет умозрительному иудаизму Шолема опыт «радикального коммунизма». О том, насколько глубокой была внутренняя коммунистическая революция, пережитая мыслителем на Капри, наглядно свидетельствует довольно пространственный фрагмент из письма Шолему, написанного 16 сентября 1924 года в ответ на несколько уязвленное предложение последнего объясниться по поводу его увлечения ради-

31. Benjamin W. Gesammelte Briefe. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1995–2000. Bd. II: 1919–1924. S. 466.

32. Ibid. S. 473.

кальным коммунизмом. Поскольку в этом пассаже переход к марксистскому материализму вновь связывается с общением с Асей, имеет смысл привести его здесь полностью:

Убедительно и ответственно прошу тебя потерпеть и дать мне время, чтобы я мог досконально рассмотреть данные той проблемы, которую ставит передо мной в силу стечения разных обстоятельств актуальный коммунизм. Для того, чтобы я мог говорить тебе об этом, необходимо, чтобы окончательно сложился объективный аспект этого предмета, равно как и проявились мои личные мотивировки. Возможно, я писал тебе, что здесь, судя по всему, сошлось несколько показательных элементов: к одному из них, личного порядка, добавилось чтение книги Лукача, которая меня поразила в том смысле, что Лукач, исходя из политических соображений, приходит, по крайней мере в каких-то частях и наверняка не в той мере, в какой мне сначала подумалось, к тезисам, касающимся теории познания, которые мне очень близки или подтверждают мои собственные идеи в этой области. <...> В пространстве коммунизма проблема «теории и практики» ставится, как мне представляется, в таких понятиях, что при всех различиях, которые необходимо сохранять между этими двумя регистрами, некое понимание теории справедливо увязывается здесь с практикой. По крайней мере, я отчетливо вижу, что у Лукача подобное утверждение включает в себе твердое философское ядро и что всякий другой подход сводится лишь к буржуазной демагогии и фразеологии. Поскольку я не могу сейчас ответствовать этой весьма жесткой предварительной установке, объективный аспект предмета также должен быть отложен. Но именно только отложен, это точно. Как только мне представится возможность, я сразу возьмусь за изучение книги Лукача, и или я во всем ошибаюсь, или критическое обсуждение гегелевских концепций и положений диалектики, направленных против коммунизма, обнаружит основания моего нигилизма. Но это никоим образом не препятствует тому, что с тех пор, как я нахожусь здесь, политическая практика коммунизма (не в виде теоретической проблемы, но прежде всего как обязывающий образ жизни [*verbindliche Haltung*]) предстает передо мной совершенно в ином свете, нежели раньше. Думаю, уже писал тебе, что множество вещей, которых я касаюсь в такого рода размышлениях, вызвали самый неожиданный интерес у тех, с кем я об этом здесь разговариваю, — среди них есть одна исключительная коммунистка, которая еще с Думской революции работает в партии³³.

33. Ibid. S. 482–483.

Не касаясь вопроса о том, как в действительности повлияла работа Лукача «История и классовое сознание» на переход Беньямина к марксистской диалектике³⁴, заметим, что в этом фрагменте актуальный коммунизм предстает немецкому мыслителю в плоскости скорее жизненной практики, даже образа жизни, нежели как сугубо теоретическая проблема. Нельзя не обратить внимания и на ту мысль, что в самой идее классового сознания он надеется найти философские основания своего «нигилизма» по отношению к буржуазному обществу и буржуазному образу мысли. Очевидно, что Беньямин нащупывает здесь отдельные моменты относительно положения свободного интеллектуала в буржуазном обществе, которое не могло не казаться ему двусмысленным, особенно в сравнении с открыто «партийной» позицией русских интеллектуалов, образцом которых ему виделась Ася. В этой связи подчеркнем также, что образ латышской революционерки как бы обрамляет все это рассуждение о коммунистическом образе жизни, придавая ему статус исповедания новой веры, неразрывно связанной с самим существованием мыслителя. В сущности, в данном фрагменте радикальный коммунизм Беньямина — не столько идея, обосновать которую он еще не готов, сколько реальный жизненный проект, посредством которого он незаметно, но решительно стремится эмансипироваться от иудейского проекта Шолома. Строго говоря, еврейский мыслитель явно лукавил, когда писал в предисловии к «Московскому дневнику», что в отношениях между Беньямином и Асей «остается загадка»: приведенные фрагменты писем дают основания полагать, что латышская революционерка действительно стала для него источником и движущей силой настоящей интеллектуальной революции.

В действительности речь здесь идет не столько о загадке, сколько о своеобразной мистификации, точнее, попытке вычеркнуть московский опыт из интеллектуальной генеалогии Беньямина и перечеркнуть значение встречи и отношений с Асей для последующей духовной эволюции автора «Улицы с односторонним движением». К этой мистификации, в итоге нацеленной на своеобразную реапроприацию наследия мыслителя, возвращение его в лоно более благообразных философских традиций, приложил руку и Адорно, желавший видеть в авторе *Passagen-Werk* воспитанника Франкфуртской школы *avant lettre*, и Шолом, не желав-

34. См. статью Екатерины Шериховой и Валерия Лукоянова «Лукач и Беньямин: две версии исторического материализма» в настоящем номере «Логоса».

ший видеть в мыслительных построениях своего друга ничего ценного, кроме метафизически-теологического начала, и Ханс Майер, выдающийся немецкий литературовед, музыковед и социолог, младший современник Беньямина, встречавшийся с ним на заседаниях «Коллеж социологии» в Париже: в одном из мемуарных очерков он высказал предположение о том, что Ася, склоня европейских интеллектуалов к принятию коммунистической догматики, работала на ГПУ (правда, мемуарист, изменяя исторической памяти, называет эту организацию КГБ)³⁵.

Разумеется, нельзя исключить, что, оказавшись в Москве весной 1926 года, Ася могла попасть в поле зрения советских разведывательных служб: она прибыла из враждебной буржуазной Латвии, правда, там чудом избежала ареста и приговора за коммунистическую агитацию с подмостков гонимого³⁶ пролетарского театра; в Москве была вхожа в кабинет Вильгельма Кнорина, видного латышского большевика, заведовавшего в то время отделом агитпропа ЦК ВКП(б); наконец, во время первой поездки в Берлин (1922–1924) завязала личные и творческие отношения с целым рядом немецких писателей, близких к левому авангарду (Бертольтом Брехтом, Максом Рейнхардтом, Бернхардтом Райхом), читала там лекции о советском искусстве, которые берлинскими обывателями воспринимались как коммунистическая пропаганда. Словом, латышская «большевичка», как не без иронии называет ее Беньямин в своих письмах, действительно могла вызвать повышенный интерес советских политических и культурных властей, озабоченных проблемой легитимации режима через привлечение в страну выдающихся деятелей европейской культуры. В пользу такого предположения говорит и то обстоятельство, что уже после возвращения Беньямина в Берлин Ася получила довольно престижное место референта по вопросам культуры при торгпредстве СССР в немецкой столице, где она работала около двух лет (1928–1930), возобновив свои творческие отношения с немецкими театральными деятелями, а также свою связь с Беньямином, который ради совместной жизни с пламенной революционеркой развелся с женой. Правда, новый союз также потерпел крах. Правда и то, что на самом пике театральной карьеры, когда в свет стали

35. *Mayer H. Walter Benjamin: Réflexions sur un contemporain*. P.: Le Promeneur, 1995. P. 40.

36. Гонимый театр — театральное движение в Латвии середины 1920-х годов, близкое по духу и формам немецким агитпропколлективам и политическому театру Эрвина Пискагора.

выходить ее труды по истории и теории театра, Ася поплатилась за свои опасные связи с границей: в русском варианте воспоминаний говорится, что с 1937 года она «руководила клубной самодеятельностью в Казахстане»³⁷; в действительности скупой советский эвфемизм скрывал арест, приговор и ссылку.

Вместе с тем, не исключая возможности той или иной формы сотрудничества Аси Лацис с ГПУ в 1920–1930-е годы, необходимо иметь в виду, что все существование этой необыкновенной женщины разворачивалось под знаком революции; более того, всем своим существом она была буквально предана революционному движению: показательным в этом отношении, что в немецком варианте воспоминаний понятие «революционер» поставлено на первое место. В самом деле, Ася была истинным порождением революции, которая стала своего рода наваждением для этого поколения молодых женщин, увидевших в революционных стихиях шанс отречься от прежнего женского удела, изменить себя вместе с изменением мира.

Действительно, родившись в 1891 году в бедной латышской семье ткачихи-надомницы и деревенского кустика, который, правда, был «убежденным социалистом»³⁸ и читал Августа Бебеля, Чарльза Дарвина, Эрнста Геккеля, Ася с младых лет была движима несколькими устремлениями; их осуществлению содействовало само революционное время, когда возможным становится немислимое. Во-первых, речь идет о подлинной страсти к театру: зародившись в домашнем закутке за ткацким станком, где девочка часами предавалась игре в театр, о которой спустя многие годы прочтет в книге Николая Евреинова «Театр для себя», эта страсть приведет Асю к сотрудничеству с самыми видными деятелями революционного театра 1920–1930-х годов. Во-вторых, это страсть к литературе, благодаря которой уже в юности, помимо шедевров латышской прозы, перед ней открылись миры Байро-

37. Лацис А. Красная гвоздика. Воспоминания. Рига: Лиесма, 1984. С. 153. Существует два варианта воспоминаний Анны Эрнестовны Лацис: первый был подготовлен на немецком языке и имел довольно характерное, если не сказать вызывающее, название «Революционер в профессии», явно диссонирующее со временем его появления в Западной Германии: *Lacis A. Revolutionär im Beruf. Berichte über proletarisches Theater, über Meyerhold, Brecht, Benjamin und Piscator / H. Brenner (Hg.). München: Rogner und Bernhard, 1971*. Второй вышел в советской Латвии на русском языке, его название было также явно анахроническим, поскольку «Красная гвоздика» (цветок, символизирующий революцию) вышла в свет накануне начала распада СССР.

38. Там же. С. 15.

на, Ибсена, Метерлинка, но также Достоевского, Тургенева, Чехова, чуть позже — Платона, Ницше, Шопенгауэра; настоящим откровением стала книга Бебеля «Женщина и социализм»; в советское время она зачитывалась Бабелем, Маяковским, Пастернаком, на дух не переносила Булгакова, считая постановку «Дней Турбиных» «белогвардейской диверсией». В-третьих, в ней всегда жила страсть «увидеть мир, узнать иную жизнь», «незнакомые города», «новых людей». Все три страсти, усиленные резким неприятием устоев и условностей буржуазного существования, слились воедино в дерзком замысле изменить участь вчерашней рижской гимназистки, чье будущее сводилось к роли учительницы или в лучшем случае ученой жены какого-нибудь латышского коммивояжера или инженера: летом 1912 года Ася «с одним узелком и одним рублем в кармане» отправилась учиться в Петербург, где поступила на общеобразовательный факультет Психоневрологического института, созданного в 1908 году Владимиром Бехтеревым.

Институт Бехтерева был своего рода прообразом университета либерального образования: здесь наряду со специальными, естественно-научными, медицинскими и психологическими дисциплинами читались курсы по истории, литературе, философии. Вместе с тем в годы, когда в нем училась Ася (1912–1914), Бехтеревский институт был очагом распространения революционных идей, поскольку тут могли продолжать свое образование студенты, изгнанные из других университетов по политическим мотивам: вместе с земляками-латышами девушка читала тогда Маркса, Энгельса, Плеханова. Словом, не приходится удивляться тому, что Февральскую революцию Ася встретила в Москве, где в 1916–1918 годах училась в театральной студии Федора Комиссаржевского. Таким образом, революционная страсть соединилась со страстью театральной, и отныне все в творческом существовании Аси было направлено на то, чтобы театр был революционным, а революция стала не теорией, а образом и стихией жизни. Следующий этап жизни молодой женщины был поистине героическим: в самый разгар гражданской войны она оказалась во главе детского театра эстетического воспитания в Орле (1918–1920), затем руководила театральной студией при Рабочем университете в Риге (1920–1922), после этого работала в Берлине в экспериментальном театре Рейнхардта (1922–1923), играла у Брехта в Мюнхене (1923–1924); осенью 1925 года, откликнувшись на призыв латышских коммунистов, Ася возглавила в Риге театр при Клубе левых профсоюзов, проработав там вплоть до весны 1926 года, когда, опасаясь преследований со стороны латышских властей, решила эмигрировать в Советскую Россию.

Что обращает на себя внимание в этом героическом маршруте? Во-первых, Ася почти все время находится «во главе»: она верховодит и господствует в этом своеобразном пространстве игры и самоутверждения, каковым является театр. Во-вторых, даже когда она не главенствует, а работает ассистентом, она связывает себя с исключительными творческими личностями. В ее «послужном списке» — Макс Рейнхардт, Бертольд Брехт, Эрвин Пискатор; нельзя исключить, что творческие отношения с мастерами революционного театра также были сопряжены с «опасными связями», хотя впоследствии сама Ася отрицала, что была близка с Брехтом³⁹. Во всяком случае в ее библиотеке было первое издание пьесы «Барабаны в ночи» с многозначительным авторским посвящением: «Или Анна — невеста солдата»⁴⁰. Так или иначе, можно думать, что любовный треугольник был необходимой психической сценой, где Ася все время разыгрывала свою партию, постоянно ставя двух других персонажей в неудобное положение: один становился рогоносцем, не будучи даже мужем, второй оказывался коварным соблазнителем, чья нечистая совесть подогревалась сознанием того, что он соблазняется любовницей друга. В «Красной гвоздике» есть характерный пассаж, где автор, так сказать, «проговаривается», обнаруживая жизненную важность треугольника для организации собственного существования. Речь идет об обсуждении мизансцены из пьесы Поля Клоделя «Обмен»:

Тут есть один эпизод, — сказал Райх. — Двое мужчин любят одну женщину, а она все не может решить, кого же выбрать. В конце концов прибегает к детской считалке: остается с тем, на кого выпадает последнее слово. Как бы вы, режиссер, поставили эту мизансцену? — Очень просто. Допустим, здесь стоите вы, рядом — я, здесь другой мужчина, — я поставила вместо него стул. — Кому же уходить? Смотрите. Подошла к Райху, плечом коснулась его плеча и стала отсчитывать: «Тути-рути-били-бум!»⁴¹

В этой сцене вся Ася — вольнолюбивая, любвеобильная, азартная, дерзкая, игривая, эксцентричная женщина, которая любит любить, но еще больше — быть любимой, быть в центре внимания, любовных влечений и приключений, которые она организует по законам театрального представления. Но она не только режиссер, она веду-

39. Альчук А. Любовь и революция в судьбе Аси Лацис, Вальтера Беньямина и Бернхарда Райха // Гендерные исследования. 2008. № 17. С. 170–177.

40. Райх Б. Вена — Берлин — Москва — Берлин. М.: Искусство, 1972. С. 141.

41. Лацис А. Указ. соч. С. 168.

щая актриса в этом экспериментальном театре «адского треугольника», где хочет быть все время на главных ролях, хочет, «чтобы ею восторгались» и «ее обожали, потому что она очень зависела от взгляда других людей»⁴². Инфантильный эгоцентризм Аси мог кому-то казаться трогательным, но Беньямина он по-настоящему ранил. Несмотря на это, в Москве мыслитель до последнего дня своего пребывания надеялся покорить эту «неприступную крепость», которой представляла перед ним латышская «большевичка».

«Московский дневник», скорее, скуп в плане описания сцен близости — мимолетные поцелуи, прижимания, прикосновения; чуть многословнее, когда речь идет о неудачных домогательствах влюбленного философа; тем не менее в одном месте Беньямин упоминает о «контроле», которому «подвергает себя Ася» «в эротических делах». Очевидно, что речь снова идет о своеобразной игре революционной нимфы, на сей раз сексуальной игре: она играет желанием мужчины, подчиняя его особому режиму удовлетворения/неудовлетворения, подразумевающему сдерживание, нагнетание и контролирование чувственного влечения. Разумеется, Беньямин подыгрывал своей возлюбленной, когда читал ей «лесбийскую сцену из Пруста»⁴³, возможно, даже пытался ее переиграть, разжечь чувственность контролирующей себя женщины книжной перверсивностью. В таких пассажах как нельзя лучше сказывается сплетение эротического и политического, в чем можно убедиться, если привести здесь краткую авторскую ремарку, идущую вслед за упоминанием о чтении Марселя Пруста:

Ася поняла ее [лесбийской сцены. — С. Ф.] необузданный нигилизм: как Пруст, так сказать, врывается в аккуратно обставленный кабинет в душе обывателя, на котором висит табличка «Садизм», и все безжалостно разносит вдребезги, так что от блестящей, упорядоченной концепции греховности не остается ничего, более того, на всех разломах зло слишком ясно обнаруживает «человечность», «доброту», свою истинную основу⁴⁴.

В таких душевных разговорах Беньямин лучше распознает свою мысль: возлюбленная, будто зеркало, возвращает мыслителя к образу, который смутно вырисовывался в его сознании. Перверсивный эротизм Пруста соотносится здесь не только с критикой буржуазной морали, но и с отрицанием христианского понятия зла.

42. Альчук А. Указ. соч. С. 171.

43. Беньямин В. Указ. соч. С. 138.

44. Там же. С. 139.

Как уже говорилось, Бенямина сильно занимает вопрос о роли эротического начала в революционном движении, он пытается его решать, наблюдая за отношениями Аси и Райха, приходя к неутешительному выводу, что революционное становление в современной России подразумевает для него сдерживание и сокращение эротической энергии. Действительно, взвешивая все за и против вступления в компартию, мыслитель приходит к едва ли не самой сильной характеристике той ситуации западного интеллектуала в Советской России, с которой он все время соотносит собственные искания своего места в революционном движении:

Во всяком случае, грядущая эпоха, кажется, отличается для меня от предыдущей тем, что ослабевает влияние эротического начала. Я осознал это не без влияния наблюдений за отношениями Райха и Аси. Я заметил, что Райх сохраняет твердость при всех колебаниях Аси, и ее выходки, от которых я бы сошел с ума, на него не действуют или он не подает вида. И если только не подает вида, то это уже очень много. Все дело в «опоре», которую он здесь нашел для своей работы. К реальным отношениям, которые она ему здесь обеспечивает, добавляется, конечно, и то, что он является здесь представителем господствующего класса. Именно этот процесс формирования всей системы господства и делает жизнь здесь такой содержательной. Она настолько же замкнута на себя и полна событий, бедна и в то же время полна перспектив, как жизнь золотискателей в Клондайке. С утра до вечера идут поиски власти⁴⁵.

В этом фрагменте наглядно обнаруживается одна особенность текстов Бенямина: сколь угодно различные тематические страсти все сходятся под знаком политического, точнее, тех краев политического, где актуальность внешней современности сливается с самыми интимными импульсами субъективности, ищущей своего места в потоке исторического времени. Вновь эротическая энергия соотносится со становлением революции, и вновь Бенямин вынужден констатировать спад революционного порыва, который подавляется в процессе формирования новой системы господства в Советской России.

Отнюдь не случайной кажется та деталь, что своего рода средним членом между полюсами оппозиции «безудержный эротизм — борьба за власть» предстает здесь мотив безумия, который в «Московском дневнике» становится лейтмотивом, своеобразно объединяющим темы любви и революции. Действительно, если

45. Там же. С. 108–109.

Ася представала в глазах Бенямина живой аллегорией революции, то он не мог не сознавать (хотя всячески уходил от необходимости проанализировать характер ее заболевания), что его революционная муза была тяжело больна, с трудом преодолев глубокое нервное расстройство: в сущности, болезнь Аси отбрасывала болезненную тень на образ революции, как он складывался в сознании мыслителя и отражался в «Московском дневнике». Сама Ася почти ничего не пишет о своей болезни, несмотря на то что окончила курс в Психоневрологическом институте Бехтерева. Между тем нельзя исключить, что характер ее заболевания непосредственно связан с тем, что можно назвать ощущением утраты революционной энергии, которое латышская «большевичка» могла испытать в Москве весной 1926 года. Действительно, после революционных бурь, разыгрывавшихся режиссером на подмостках *гонимого* театра при Клубе левых профсоюзов в Риге, когда Ася могла ощущать себя на переднем крае исторической борьбы, жизнь в советской столице могла поразить пламенную революционерку всеобщей жаждой покоя, обывательским тяготением к социальному умиротворению, неуклонным возвращением мелкобуржуазных ценностей в существование партийной элиты. Словом, оказавшись в Москве середины 1920-х годов, латышская революционерка вполне могла испытать некий шок от ощущения «конца истории», свертывания революции, подразумевавшего маргинализацию радикальных революционных элементов. В сущности, душевное расстройство Аси могло быть несколько сродни безумию экзистенциальной неприспособленности к постреволюционной московской действительности, описанному Алексеем Толстым в знаменитой повести «Гадюка» (1928): «Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючья злость»⁴⁶. Собственно, именно это ощущение овладело Асей в первые дни ее пребывания в Москве, когда она думала, что с революцией все «кончено»⁴⁷, что в России больше не нужна эта негативная революционная энергия, которая двигала ею в *гонимом* театре в Риге. Лишь какое-то время спустя, с трудом преодолев глубокое нервное потрясение, пламенная революционерка смогла смириться с той мыслью, что революционное насилие необходимо преобразовать в «техническую работу»⁴⁸.

Если попытаться описать эту ситуацию через другое антропологическое понятие, то можно сказать, что латышская боль-

46. Толстой А. К. Гадюка // Собр. соч.: В 10 т. М.: Гослитиздат, 1958. Т. 4. С. 212.

47. Бенямин В. Указ. соч. С. 122.

48. Там же.

шевичка впала в Москве в то состояние переживания собственной ненужности в настоящем, которую десятилетие спустя Жорж Батай будет описывать через концепт «безработной негативности»⁴⁹ — состояние человека, который смутно или, наоборот, остро ощущает, что история подошла к концу, что его человеческая сущность, состоящая в разрушении наличной действительности, более ни к чему, а главное — не ко времени: последнее, пройдя сквозь разрыв времен связующей нити, которым является любая революция, скатилось в эпоху исторического безвременья, к чему сводится всякая консервативная политика. В сущности, все протагонисты «Московского дневника», равно как ряд второстепенных его персонажей, находятся в состоянии «безработной негативности»: все они находятся в поиске работы, ищут или теряют «должности», так или иначе отстранены от реального участия в том повороте исторического становления, когда на повестке дня не разрушение наличного положения вещей, а опыт сохранения достигнутого.

Завершая этот раздел, нам остается подчеркнуть, что тень умопомешательства витает не только над Асей, которая находится в санатории для душевнобольных и которой случается впадать в полное безумие, когда она организует мятеж больных женщин против того, что в соседнюю палату положили «настоящую» сумасшедшую⁵⁰: очевидно, что речь идет о своего рода «непризнании» безумия в себе. Под гнетом безумия существует и Райх, поскольку «он живет с сумасшедшим, и жилищные условия, и без того тяжелые, становятся от этого невыносимыми»⁵¹ — вот почему он ночует в гостиничном номере Беньямина, зачастую заставляя последнего терять самообладание и присутствие духа. Более того, почти все время, пока Беньямин находится в Москве, Райх болеет или делает вид, что болеет: то сердечный приступ, то до судорог воспаленная десна, то внезапное гриппозное состояние. Симптомы его заболевания, которое валит его с ног под занавес «Московского дневника», свидетельствуют скорее о глубоком нервном срыве, спровоцированном как выходками Аси, так и постоянным общением с соперником, нежели о каком-то реальном нездоровье. Собственно говоря, Беньямин не раз ловит себя на сомнении касательно болезней Райха, воспринимая его, скорее, как «мнимого

49. Батай Ж. Письмо X, руководителю семинара по Гегелю // Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Сост., пер. с фр. и прим. С. Л. Фокина. СПб.: Мифрил, 1994. С. 318–320.

50. Беньямин В. Указ. соч. С. 45.

51. Там же. С. 23.

больного»; что до Аси, то ей случается с садистическим упорством «донести до сознания другого, какую несправедливость тот совершает, заболев»⁵². Таким образом, можно убедиться: «Московский дневник» наглядно свидетельствует о том, что в сознании Беньямина любовь, революция, безумие образуют причудливую семантическую констелляцию, смысл которой сводится к переживанию краха революционного проекта. Как уже упоминалось, нельзя сказать, что революционные стихии полностью исчезают с интеллектуального горизонта Беньямина, но с этого момента они облачаются своего рода траурной аурой, а сам мыслитель проникается мыслью, что обречен отныне существовать в виде исторического пережитка, люмпена от истории или отребья революционного становления. Основываясь на этой мысли, он после московского поражения будет соотносить свое творчество с той линией жизни и критического письма, что чуть позднее назовет «традицией побежденных»⁵³. Вместе с тем некой более наглядной фигурой существования Беньямина в Москве под знаком безумия стал образ ревизора поневоле, который обернулся своего рода ментальным двойником берлинского гостя, с одной стороны помогая ему скрывать опыт гнетущей экзистенциальной пустоты, а с другой — препятствуя ему действительно увидеть и понять Москву. Анализом этого мотива нам бы хотелось завершить настоящую работу.

Ревизор поневоле и топтун поневоле, или Как Беньямин проглядел Москву

С самых первых моментов пребывания в столице мирового коммунизма Беньямин оказывается во власти одного ментального наваждения, которое будет сопровождать его на протяжении всех хождений по Москве. Речь идет о фигуре ревизора, с которой он сталкивается в день приезда — 6 декабря:

Райх проводил меня в гостиницу, мы немного поели в моей комнате, а потом пошли в театр Мейерхольда. Была первая генеральная репетиция «Ревизора». Достать для меня билет, несмотря на попытку Аси, не удалось. Тогда я прошелся полчаса туда-сюда по Тверской, пытаясь разбирать по буквам вывески и осторожно ступать по льду⁵⁴.

52. Там же. С. 48.

53. Walter Benjamin, *la tradition des vaincus* / Ph. Simay (dir.). *Cahier d'Anthropologie sociale*. № 4. P.: Éditions de l'Herne, 2008.

54. *Беньямин В.* Указ. соч. С. 17.

Помимо образа ревизора в этой зарисовке появляется еще один злой гений, изрядно попортивший кровь берлинскому путешественнику и немало поспособствовавший провалу московской миссии Беньямина. Это покрытые льдом московские улицы, по которым не только фланировать, но и просто ходить можно было не иначе, как с большим трудом и напряжением. В русском переводе использовано словосочетание «осторожно ступать», непосредственно отсылающее нас к образу «топтуна», который, согласно внутренней форме слова, не столько ходит, сколько топчется на месте. Развивая эту аналогию, можно сказать, что вместо фланера, который спокойно прогуливается по улицам европейских столиц, внимательно поглядывает по сторонам, остро подмечает особенности жизни огромных городов, Беньямин в Москве 1926 года вынужден был выступать в роли «топтуна», который осторожно ступает по заледневшим улицам зимнего города, правда, смотрит не столько по сторонам, сколько себе под ноги, ставя под вопрос саму способность изучать и наблюдать жизнь коммунистической столицы. При этом обратим сразу внимание на то обстоятельство, что в русском слове «топтун» присутствует семантическая переключка с понятием «ревизора»: и первый, и второй отслеживают что-то такое, что противоречит законному положению дел. Наконец, заметим, что и маску ревизора, и маску топтуна Беньямин принимает против своей воли, просто в силу сложившихся обстоятельств. Тем не менее именно эти две маски как нельзя более удачно скрывают определенного рода «пустоту» духовно-интеллектуального опыта, на которую Беньямин сам себя настраивает, когда собирается в коммунистическую Москву. Итак, московский топтун, ревизор поневоле, Беньямин в Москве испытывает на себе то интеллектуально-ментальное состояние, которое сам называет пустотой опыта и которому в общем и целом соответствует, с одной стороны, понятие разрушительного характера, с другой — безработной негативности.

Как уже было сказано, Беньямин слышит разговоры о «Ревизоре» с момента своего прибытия в Москву. Постановка представляет собой одно из главных событий театральной Москвы 1926 года. Действительно, Мейерхольд обратился к классической русской комедии, чтобы показать, что революционное искусство в состоянии продолжить дело революции именно в тот поворотный момент, когда последняя обращается в свою противоположность, то есть в спасительный для обескровленной России политический консерватизм. Режиссер-авангардист, работая с пьесой Гоголя, стремится обнаружить первоисходные силы произведения искусства, поэтому он, скорее, переписывает классический текст, используя для

своей постановки варианты и черновики, преданные забвению автором. Можно сказать, что, отказываясь воспроизводить на сцене классический текст, Мейерхольд пытается обрести утраченное время начала начал, иными словами, время катастрофы, или революции, когда, с одной стороны, «рвется времен связующая нить», тогда как с другой — все становится возможно. Однако в отличие от Гамлета, который, согласно Деррида, ощущает невозможность связать порванные нити⁵⁵, Хлестаков представляет собой, скорее, экзистенциальную пустоту человеческого существования: призрачность, пустословие, откровенная ложь, на что указывает его имя на русском языке. Строго говоря, выстраивая линию образа, Мейерхольд стремится обнаружить своего рода пустоту русскости как таковой, и именно эта пустота оказалась невыносимой для критиков-коммунистов, выступивших с уничижительной критикой постановки.

Как уже было сказано, собственно революция была снята с повестки дня исторического становления России, что нашло выражение в усилении позиции Сталина в ущерб позиции перманентной революции Троцкого. Беньямин остро почувствовал и выразил политическую подоплеку провала Мейерхольда:

Во внешних отношениях правительство стремится к миру, чтобы заключать с империалистическими государствами торговые договоры; но прежде всего оно стремится внутри страны к ограничению влияния воинственного коммунизма, оно пытается на время установить классовый мир, деполитизировать повседневную жизнь, насколько это возможно... Предпринята попытка приостановить в государственной жизни динамику революционного процесса — желают того или нет, но начался процесс реставрации⁵⁶.

Неуместность или несвоевременность постановки Мейерхольда Беньямин также ощутил как нельзя более остро, вникая в обсуждение генеральной репетиции, которое развернулось между Асей и Райхом 7 декабря:

В центре дискуссии — затраты на бархат и шелк и пятнадцать платьев для жены Мейерхольда, между прочим, пьеса идет пять с половиной часов⁵⁷.

55. Об этом см.: *Derrida J. Spectres de Marx*. P.: Galilé, 1989. P. 44.

56. *Беньямин В.* Указ. соч. С. 78.

57. Там же. С. 18.

Не будет никакого преувеличения, если сказать, что образ или призрак «Ревизора» буквально преследует Бенямина в Москве, сливаясь с образом Райха, его соперника в разделенной любви к Асе. 13 декабря он записывает:

Во второй половине дня Райх читал нам свой отзыв на прогон постановки «Ревизора». Он очень хорош⁵⁸.

В общем, когда 19 декабря сам Бенямин идет смотреть пьесу, он уже буквально сжился с «Ревизором», воспринимая его как свое альтер эго.

Отзыв о впечатлениях Бенямина от пьесы советского режиссера занимает в «Дневнике» примерно одну страницу, но важно подчеркнуть, что он оказывается своего рода авантестом для статьи о Мейерхольде, которую пишет Бенямин для газеты *Literarische Welt* и которая будет опубликована 11 февраля 1927 года. Небезынтересно будет отметить, что в статье — в сравнении с отзывом на пьесу в «Дневнике» — Бенямин более категоричен в своих утверждениях о прекращении революционного движения и искусства в России: если в «Дневнике» он говорит о «социологически-аналитической направленности постановки», которая связывала инсценировку с революционным искусством, то в статье он почти хладнокровно констатирует поражение Мейерхольда, используя в названии глагол *erledigen*⁵⁹ и предвосхищая таким образом трагическую судьбу советского художника⁶⁰.

Сопоставляя два текста — отзыв из «Дневника» и статью для *Literarische Welt*, — можно обратить внимание на один пассаж из «Дневника», в котором странным образом выражается своего рода ключ к пониманию постановки Мейерхольда и современной политической ситуации. Речь идет о сцене с «шинелью»: перед балюстрадой стоит ревизор, за ней

58. Там же. С. 28.

59. Ликвидировать, покончить, уничтожить (нем.). — *Прим. ред.*

60. *Benjamin W. Der Regisseur Meyerhold in Moskau erledigt? Ein literarische Gericht wegen der Inszenierung von Gogols "Revisor" // Gesammelte Schriften. Bd. IV-1. S. 481–483.* Русский перевод этой статьи и обстоятельный комментарий к ней см.: *Маликова М. Э. К описанию позиции Вальтера Бенямина в Москве: театр и кино // К истории идей на Западе: «Русская идея» / Под ред. В. Е. Багно и М. Э. Маликовой. СПб.: Пушкинский дом; Петрополис, 2011. С. 421–456. URL: <http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=ANd3o9P3mCg%3D&tabid=10459>.*

...толпа, следующая за всеми его движениями и ведущая очень выразительную игру с его шинелью — то держит ее шестью или семью руками, то накидывает ее на ревизора⁶¹.

Нет никакой необходимости подчеркивать то значение, какое мог иметь образ шинели для Гоголя: шинель делает недочеловека человеком; гораздо интереснее указать на возможную переключку всей сцены с советским политическим театром, который уже тогда мог восприниматься как театр жестокости, где Сталин, с броскими усами, незатейливой трубкой и солдатской шинелью, начал входить в роль скромного и обаятельного диктатора.

Не останавливаясь здесь на той роли, которую сыграл Анатолий Луначарский в провале московской миссии Беньямина, заметим, что именно он ясно выразил метафизический характер этой сцены:

Хлестаков заметил, что его приняли за другого. В нем уже смутно, полусознательно зарождается идея использовать положение, раздувшись индюком, поэксплуатировать недоразумение провинциальных пентюхов. Поэтому у своего спутника он занимает шинель и кивер, оставляя ему старую военную шапку и поношенный плащ, и с этой минуты выступает уже действительно как какая-то важная птица. Сама психология его меняется в этот момент. На наших глазах испуганный фертик, чиновник из самых нечиновных, превращается в фантазмагорическую фигуру самозванца. Только это вполне оправдывает все дальнейшее. Малюсенький чиновник, у которого нет никакого гардероба, не может быть, почти невероятен в дальнейшем как Хлестаков. Между тем эта шинель с меховым воротником, этот высокий кивер не могут не ошеломить сразу уездную мелкоту⁶².

Итак, в свете приведенного фрагмента можно предположить, что к мотиву ревизора в сознании Беньямина так или иначе примешивался мотив самозванца: собственно, два этих переплетающихся мотива составляли основу ментальной настроенности любого европейского путешественника в Советскую Россию (разумеется, если не считать тех, кто был официально зван). С одной стороны, сознание такого странника определяется стремлением понять, проверить, а все ли так распрекрасно в этой стране антибуржуаз-

61. Беньямин В. Указ. соч. С. 49.

62. Луначарский А. В. «Ревизор» Гоголя-Мейерхольда // Собр. соч.: В 8 т. М.: Художественная литература, 1964. URL: <http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-3/-revizor-gogola-mejerholda>.

ных грез, с другой — он смутно ощущает, что сам он, собственно, не зван, остается чужим и чужестранным в отношении этого радикально нового опыта социального строительства.

В отношении Беньямина это общее положение может быть конкретизировано следующими уточнениями: автор «Дневника» так или иначе осознавал свою задачу не ошибиться в восприятии России в двух отношениях. С одной стороны, он не мог позволить себе смотреть на нее исключительно как чужой, который видит и узнает на чужбине лишь то, о чем раньше знал и читал (книжное восприятие чужбины). С другой стороны, он остерегался смотреть на Россию с точки зрения своего, что, в общем, было бы возможно и просто, если бы он воспринимал Страну Советов исключительно сквозь призму драгоценного образа Аси, через который к тому же он был связан с тем сообществом или даже той многонациональной и многоязычной семьей, составленной в России 1920-х годов западными революционерами.

Другими словами, первая опасность и просто помеха для верного и критического восприятия России определялись тем, что в России хотелось видеть идеальное воплощение заветных коммунистических грез самой Европы. В своих размышлениях о разочарованиях Йозефа Рота Беньямин недвусмысленно отвергает эпистемологическую ценность такого путешествия:

Он приехал в Россию почти убежденным большевиком, а уезжает из нее роялистом. Как обычно, страна расплачивается за смену политической окраски тех, кто приезжает сюда с красноватозеленым политическим отливом (под знаком «левой» оппозиции и глупого оптимизма)⁶³.

Отталкиваясь от такой позиции, которая доминировала в сознании многих западных ревизоров, обзревавших успехи и неудачи реализации коммунистической идеи в России, Беньямин пытается настроить свою субъективность таким образом, чтобы в ней преобладало отсутствие всякой предустановленной позиции, своего рода чистота феноменологического сознания, которая, собственно говоря, образует метод рассуждения в «Дневнике»: «Метод письма для России — излагать саму материю и ничего более»⁶⁴. Другими словами, в отношении чужой России письмо «Дневника» разворачивается под знаком отрицания всякого

63. Беньямин В. Указ. соч. С. 43.

64. Там же. С. 61.

предустановленного опыта, которому парадоксальным образом соответствует пустота фигуры западного ревизора: во-первых, как инспектора состояния революционного движения; во-вторых, как самозванца, заведомо выступающего под маской другого, или чужого; в-третьих, как чистой маски, маскирующей чистое ничто опыта, исходя из которого Беньямин пытается постичь Россию.

Итак, перед лицом двойной опасности невосприятия столицы мирового коммунизма — и с точки зрения абсолютной чуждости, когда путешественник видит только то, что бросается в глаза, или ищет то, о чем раньше прочитал и услышал (дежавю), и с точки зрения самозванной близости, когда путешественник смотрит на чужбину не столько глазами, сколько сердцем, к которой был близок Беньямин через почти безумную любовь к Асе, — автор «Дневника» пытается разрабатывать и опробовать в своем письме некое многовидение, множество различных точек зрения. Большинство из них может быть сведено к следующей формуле: Беньямину в Москве важнее всего устоять на ногах и смотреть на столицу широко открытыми глазами вопреки двойной опасности слишком чужого и слишком близкого. Речь идет, разумеется, о своего рода критическом героизме, которого Беньямин искал в образе Бодлера, и его воображаемом двойнике — парижском фланере. Однако, как уже говорилось в самом начале этого раздела, то, что могло выглядеть совершенно естественным в Берлине или Париже (твердо стоять на ногах, прогуливаться, фланировать, смотреть на город широко открытыми глазами), требовало сверхъестественного или даже сюрреалистического усилия на заледеневших улицах Москвы. Другими словами, отнюдь не в виде европейского фланера Беньямин ходил по московским улицам 1926 года, пытаясь наблюдать мысль и взором первых встречных, уличных торговцев, прохожих, озабоченных горожан, церкви, рынки, пивные: он просто топал, смотря себе под ноги, чтобы не поскользнуться на льду, утрачивая эту сущностную способность фланера, которая заключается в тесной связи между хождением и зрением. В заключение можно даже сказать, что хождение на одном месте предопределило еще одно измерение почти полного краха, в который вылился московский вояж: Беньямин почти проглядел советское авангардное искусство, которое, несмотря ни на что, продолжало биться за новую жизнь, за новые формы. Впрочем, это тема для других работ.

Библиография

- Benjamin W. Der Regisseur Meyerhold in Moskau erledigt? Ein literarische Gericht wegen der Inszenierung von Gogols "Revisor" // Idem. Gesammelte Schriften. Bd. IV–1. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1974–1991. S. 481–483.
- Benjamin W. Erfahrung // Idem. Gesammelte Schriften. Bd. II–1. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1974–1991.
- Benjamin W. Gesammelte Briefe. Bd. II: 1919–1924. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1995–2000.
- De Launay M. Expérimentation, expérience et expérience vécue // Cahier de l'Herne. № 104. P.: Éditions de l'Herne, 2013.
- Derrida J. Spectres de Marx. P.: Galilé, 1989.
- Lacis A. Revolutionär im Beruf. Berichte über proletarisches Theater, über Meyerhold, Brecht, Benjamin und Piscator / H. Brenner (Hg.). München: Rogner und Bernhard, 1971.
- Lavelle P. La ressemblance non sensible et le travail de la ressemblance // Europe. 2013. № 1008. P. 212–228.
- Mayer H. Walter Benjamin: Réflexions sur un contemporain. P.: Le Promeneur, 1995.
- Scholem G. Walter Benjamin. Histoire d'une amitié. P.: Calmann Lévy, 1981.
- Walter Benjamin, la tradition des vaincus / Ph. Simay (dir.). Cahier d'Anthropologie sociale. № 4. P.: Éditions de l'Herne, 2008.
- Альчук А. Любовь и революция в судьбе Аси Лацис, Вальтера Беньямина и Бернхарда Райха // Гендерные исследования. 2008. № 17. С. 170–177.
- Батай Ж. Письмо Х, руководителю семинара по Гегелю // Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Сост., пер. с фр. и прим. С. Л. Фокина. СПб.: Мифрил, 1994. С. 318–320.
- Беньямин В. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997.
- Деррида Ж. Back from Moscow, in the USSR // Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия. М.: РИК «Культура», 1993.
- Лацис А. Красная гвоздика. Воспоминания. Рига: Лиесма, 1984.
- Луначарский А. В. «Ревизор» Гоголя-Мейерхольда // Он же. Собр. соч.: В 8 т. М.: Художественная литература, 1964. URL: <http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-3/-revizor-gogola-mejerholda>.
- Маликова М. Э. К описанию позиции Вальтера Беньямина в Москве: театр и кино // К истории идей на Западе: «Русская идея» / Под ред. В. Е. Багно и М. Э. Маликовой. СПб.: Пушкинский дом; Петрополис, 2011. С. 421–456.
- Райх Б. Вена — Берлин — Москва — Берлин. М.: Искусство, 1972.
- Смирнов Д. А. Гершом Шолем и Вальтер Беньямин: частная жизнь и дружба двух интеллектуалов в контексте идеологической борьбы межвоенного времени // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. Т. 2. № 3. С. 43–48.
- Толстой А. К. Гадюка // Он же. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1958.
- Фокин С. Л. Капитализм как религия, или Вальтер Беньямин как переводчик Макса Вебера (к характеристике метода критического рассуждения) // Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Специальный выпуск: Экономика и религия. М.: Издательство Института Гайдара; СПб.: СПбГУ, факультет свободных искусств и наук, 2015. С. 167–179.
- Фокин С. Л. Пассажи. Этюды о Бодлере. СПб.: Machina, 2011.
- Чубаров И. Перевод как опыт нечувственных уподоблений // Логос. 2011. № 5–6 (84). С. 237–252.

“THE MOSCOW DIARY”: ON THE METHOD OF REASONING, LOVE,
MADNESS, AND REVOLUTION

SERGUEI FOKINE. Head of Department of German, Romance and Scandinavian Languages and Translation, Faculty of Humanities; Professor of Department of Interdisciplinary Studies in the Field of Languages and Literature, Faculty of Liberal Arts and Sciences (Smolny College), serge.fokine@yandex.ru.

St. Petersburg State University of Economics (UNECON), 4 Moskatelny In,
St. Petersburg 191023, Russia.

St. Petersburg State University (SPbU), 58–60 Galernaya str., St. Petersburg 190000,
Russia.

Keywords: Russian revolution; Walter Benjamin; “The Moscow Diary”; Russian art;
Vsevolod Meyerhold.

This article aims to study *The Moscow Diary* through the notion of “method of reasoning,” and the challenges that prompted Benjamin’s visit to Moscow: love and revolution, madness and the discovery of the other, the impossibility to saunter along the icy streets of the Soviet capital, and the inability to grasp the truly revolutionary elements of the Russian avant-garde of the 1920s. Attention is drawn to one of the main aggravating circumstances of Benjamin’s Moscow experience: what would seem perfectly natural in Berlin or in Paris—to stand firmly on one’s feet, walk around, saunter and watch the city, eyes wide open—demanded supernatural and even surreal efforts on the icy streets of Moscow. In other words, it was not as a European flâneur that Benjamin walked the Moscow streets of 1926–1927, trying to observe with thought and gaze his close friends, casual acquaintances, strangers, street vendors, preoccupied locals, churches, markets and bars: he moved carefully, watching his step to avoid slipping on ice, thus losing the essential capacity of the stroller that lies in the close connection between walking and watching.

The author emphasizes that the experience gained by Benjamin in Moscow was not based on the optimistic-utopian idea of the Revolution that originally led the traveler to the Soviet capital, but on a kind of revolutionary melancholy that undermined the subsequent creative endeavors of the philosopher from within. Its elements—the trauma of the fading-away of the revolutionary impulse, as well as unfulfilled sensual expectations—compelled the thinker to conform the experience of the fracture and openness of consciousness with forms of writing marked by disjunction and fragmentation. *The Moscow Diary* is the last completed work of Benjamin, and all subsequent texts can be considered only as sketches, passages, and transitions to the yet to come—but never to be completed—book: the *Passagen-Werk*.

DOI: 10.22394/0869-5377-2018-1-1-33

References

- Al’chuk A. Liubov’ i revoliutsiia v sud’be Asi Latsis, Val’tera Ben’iamina i Bernkharda Raikha [Love and Revolution in the Destinies of Asja Lācis, Walter Benjamin and Bernhard Reich]. *Gendernye issledovaniia* [Gender Studies], 2008, no. 17, pp. 170–177.
- Bataille G. Pis’mo X, rukovoditeliiu seminara po Gegeliu [Letter to X, the Director of Hegel Seminar]. *Tanatografiia erosa. Zhorzh Batai i frantsuzskaia mysl’ srediiny XX veka* [Thanatography of Eros. Georges Bataille and the French

- Thought of Mid-Twentieth century] (ed. S. L. Fokin), Saint Petersburg, Mifril, 1994, pp. 318–320.
- Benjamin W. Der Regisseur Meyerhold in Moskau erledigt? Ein literarische Gericht wegen der Inszenierung von Gogols “Revisor”. *Gesammelte Schriften. Bd. IV-1*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974–1991, S. 481–483.
- Benjamin W. Erfahrung. *Gesammelte Schriften. Bd. II-1*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974–1991.
- Benjamin W. *Gesammelte Briefe. Bd. II: 1919–1924*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995–2000.
- Benjamin W. *Moskovskii dnevnik* [Moskauer Tagebuch], Moscow, Ad Marginem, 2012.
- Chubarov I. Perevod kak opyt nechuvstvennykh upodoblenii [Translation as an Art of the Non-Sensual Likenings]. *Logos. Filosofsko-literaturnyi zhurnal* [Logos. Philosophical and Literary Journal], 2011, vol. 21, no. 5–6, pp. 240–242.
- De Launay M. Expérimentation, expérience et expérience vécue. *Cahier de l’Herne*, no. 104, Paris, Éditions de l’Herne, 2013.
- Derrida J. Back from Moscow, in the USSR. *Zhak Derrida v Moskve: dekonstruktsiia putesthestviia* [Jacques Derrida in Moscow: A Deconstruction of Journey], Moscow, RIK “Kul’tura”, 1993.
- Derrida J. *Spectres de Marx*, Paris, Galilé, 1989.
- Fokin S. L. Kapitalizm kak religiiia, ili Val’ter Ben’iamin kak perevodchik Maksa Vebera (k kharakteristike metoda kriticheskogo rassuzhdeniia) [Capitalism as Religion, or Walter Benjamin as a Translator of Max Weber (to the Characteristic of Critical Reasoning Method)]. *Al’manakh Tsentra issledovaniia ekonomicheskoi kul’tury fakul’teta svobodnykh iskusstv i nauk SPbGU. Spetsial’nyi vypusk: Ekonomika i religiiia* [Centre for Economical Culture Research of SPbSU Liberal Arts Faculty. Special Issue: Economics and Religion], Moscow, Saint Petersburg, Izdatel’stvo Instituta Gaidara, SPbSU, Liberal Arts Faculty, 2015, pp. 167–179.
- Fokin S. L. *Passazhi. Etiudy o Bodlere* [Passages. Etudes on Baudelaire], Saint Petersburg, Machina, 2011.
- Lācis A. *Krasnaia gvozdika. Vospominaniia* [Red Carnation. Memories], Riga, Liesma, 1984.
- Lacis A. *Revolutionär im Beruf. Berichte über proletarisches Theater, über Meyerhold, Brecht, Benjamin und Piscator* (Hg. H. Brenner), München: Rogner und Bernhard, 1971.
- Lavelle P. La ressemblance non sensible et le travail de la ressemblance. *Europe*, 2013, no. 1008, pp. 212–228.
- Lunacharsky A. V. “Revizor” Gogolia-Meierkhol’da [Gogol–Meyerhold’s “The Government Inspector”]. *Sobr. soch.: V 8 t.* [Collected Works: In 8 vols], Moscow, Art Literature, 1964. Available at: <http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-3/-revizor-gogolia-mejerholda>.
- Malikova M. E. K opisaniiu pozitsii Val’tera Ben’iamina v Moskve: teatr i kino [To the Description of Walter Benjamin’s Position in Moscow: Theatre and Cinema]. *K istorii idei na Zapade: “Russkaia ideia”* [To the History of Ideas in the West: “Russian Idea”] (eds V. E. Bagno, M. E. Malikova), Saint Petersburg, Pushkinskii dom, Petropolis, 2011, pp. 421–456.
- Mayer H. *Walter Benjamin: Réflexions sur un contemporain*, Paris, Le Promeneur, 1995.

- Reich B. *Vena — Berlin — Moskva — Berlin* [Wien — Berlin — Moskau — Berlin], Moscow, Art, 1972.
- Scholem G. *Walter Benjamin. Histoire d'une amitié*, Paris, Calmann Lévy, 1981.
- Smirnov D. A. Gershon Sholem i Val'ter Ben'iamin: chastnaia zhizn' i družba dvukh intellektualov v kontekste ideologicheskoi bor'by mezhvoennogo vremeni [Gershon Scholem and Walter Benjamin: Private Life and Friendship of Two Intellectuals in the Context of Ideological Struggle in Mid-War Time]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta* [Herald of Kemerovo State University], 2015, vol. 2, no. 3, pp. 43–48.
- Tolstoy A. K. Gadiuka [Adder]. *Sobr. soch.: V 10 t. T. 4* [Collected Works: In 10 vols. Vol. 4], Moscow, Goslitizdat, 1958.
- Walter Benjamin, la tradition des vaincus (dir. Ph. Simay). *Cahier d'Anthropologie sociale*, no. 4, Paris, Éditions de l'Herne, 2008.